



А. БЕЛЫЙ

Вячеслав Иванов: Силуэт

В задачу моего очерка не входит оценка литературных заслуг Вячеслава Иванова; лично я его высоко ценю и люблю, многим он кажется непонятным: о вкусах не спорят.

Самая его фигура встает передо мной; несколько пережитых вместе моментов жизни вызывают воспоминание об этом странном, глубоко интересном человеке; спешу поделиться ими с читателем.

Была весна 1904 года. В душу впервые закралось разочарование в тех людях, которым я так верил когда-то; разорвав с традиционным кругом знакомств, я очутился неволью среди модернистов; увлекался творениями; стремился сойтись с ними как с людьми, — и люди разочаровывали. Слишком много оказывалось риторики, позы, холодного резонерства там, где душа искала высоких порывов и теплоты сердечной.

Стоял теплый пасхальный день¹: на улицах Москвы продавали синенькие цветочки: нежные деревья, помахивая из-за далеких крыш, точно плыли вершинами в небо над городом; бархатный звон колокольный, гуденье пролетов и нежная пыль врывались в окно с радостным ветерком.

Позвонили.

В нашу ветхую (еще отцовскую) гостиную, с разваливающейся мебелью в чехлах, осторожно вошла сутулая, высокая фигура и рассеянно остановилась, потирая руки². Солнечный зайчик забегал по стенке, скользнул по сюртуку, осветив розовое лицо и зеленоватый, острый взор вошедшего господина; вдруг повеяло чем-то старинным, напоминающим лучшие времена жизни, родным.

Вдруг фигура стремительно двинулась мне навстречу; дрогнули слегка золотые, слегка бело-льняные волосы; на высоком выпуклом лбу побежали тонкие морщинки: дрогнуло на переносице золотое пенсне; из-под пенсне, из-под безбровых надбровных дуг зоркие посинели глаза, обдавая теплом и лаской, точно синенькие василечки, а сурово сжатый рот расплылся в прямо-таки детскую улыбку; двинулась ко мне старомодная фигура и — трах: зацепила за кресло.

— Ах, извините, пожалуйста, — чопорно раздался певучий тонкий дишкант, точно пенье скрипичных смычков; и опять в воздухе повеяло чем-то старинным: пели колокола, весенние деревья издали в дали уплывали вершинами.

Соединение светскости с простотой, изощренности — с чем-то старомодным; сороковые годы в 1904 году — вот первое впечатление от декадентского поэта и сотрудника «Весов» Вячеслава Иванова³; если бы я не знал, кто стоял передо мной, я бы сказал: это — старый чудак профессор из захолустного немецкого городка; но миг — и выражение тонкой проницательности изменило лицо; он принялся меня расспрашивать о моих планах; казалось, предо мной судебный следователь; миг еще — и новое впечатление: в подозрительной на первый взгляд проницательности начинала сквозить чисто отеческая ласка: он весь — внимание; он — слушал чужую душу. Вячеслав Иванов — редкое соединение проповедника с исповедником; молчит — и вас тянет рассказывать ему то, что вы скрыли бы от наиболее близких людей; вы чувствуете — он поймает в вас неуловимое; поймает и растолкует вам вас самих; заговорит — и уже ничего не видит: выпрямляются сутулые плечи; голос, точно бархатная виолончель, на высоких нотах поет; вдохновенно блещут глаза; вдохновенно волнуются на плечах золотые кудри; он — весь красота: пред вами — юноша: вы не видите, как смешно зацепляется мебель, как спотыкаются тонкие, слабые ноги. Он вас зажжет энтузиазмом, навсегда войдя в душу: вы забудете осторожность, с которой беседуете с иными из модернистов, в которых тонкость переживаний есть острота пресыщенности, ум выражается в насмешке, а вера в идеал — в рассуждениях о чеканке стиха.

Первая встреча с Вячеславом Ивановым покорила меня: так не походила его старомодная внешность на мальчишеский вид многих соратников его по журналу; так не походило его младенческое воодушевление на расчетливый холод пустых, риториче-

ских фраз; так не походил и быт его жизни на быт литературной богемы этого времени.

Все это я думал в день первого нашего сближения, а высокая сутулая фигура ходила предо мной взад и вперед в облаках табачного дыма, колокольный, благостный звон вторил его словам. Глядя на Вячеслава Иванова, я невольно вспомнил образы прошлого: покойного отца, Стороженко, Иванюкова и незабвенного Вл. Серг. Соловьева⁴.

Он пришел ко мне весной, овеянный пасхальной радостью; вместе с весной вошел в душу благой вестью. Много было между нами впоследствии; мы и сходились, и расходились: выступали как союзники; выступали и как враги⁵. Но лейтмотивом моего отношения к Иванову осталась благая весть, им принесенная в разрыве с академическим искусством того времени и в разрыве с видными группами общественных деятелей и писателей, личность его соединила всю молодость наших исканий с уважением к старине и прекрасному прошлому русской действительности.

Один из самых малопонятных писателей оказался умнейшим, широчайшим и терпимейшим человеком. Отсюда его выдающаяся деятельность как организатора литературной жизни Питера; отсюда личное влияние его на тех, кто отрицает в нем художника; к Вячеславу Иванову идут все — идут чуть ли не с улицы; никого не отпустит он без совета, ласки и поощрения; если Бальмонт — корифей русского символизма, Брюсов — полководец, завоеватель, Блок — сновидец, то Вячеслав Иванов — кабинетный затворник и исповедник: до шести часов утра ежедневно исповедует он у себя в кабинете; накладывает эпитимьи, бичует, связывает души, отпускает и разрешает грехи. Таковы чисто личные его качества; не следует забывать, что В. Иванов, кроме того, крупный художник, ученый и организатор символического течения современности.

Дарования большинства поэтов-модернистов крепки в атмосфере кружка, в атмосфере дружеских споров, обмена мнений и взаимной поддержки. Уединенно выросла личность Вячеслава Иванова: не обмен мнений, не личное влияние того или иного обусловили круг его интересов, круг его литературных тем: прикосновением к традиции седой старины, кропотливой работой в пыли архивов, музеев и академий превратил себя ученик Моммсена, автор ученой диссертации⁶, написанной на изящном латинском языке, из ученого в поэта-модерниста. Оригинальные взгляды

В. Иванова на искусство окрепли под сенью западноевропейских музеев и академий. От истории древности — к филологии и археологии, от филологии — к быту и психологии античной Греции, от Греции — к проверке взглядов Ницше на сущность трагедии и к утверждению вершин вагнеровских обобщений, — вот умственная парабола, им нарисованная; он связал происхождение и жизнь греческих культов с происхождением и жизнью религии вообще; отсюда еще шаг, — и ученые работы В. Иванова поставили его в центре наиболее мучительных религиозных исканий современности; как человек, он пламенно верует в религиозное возрождение; но как образованнейший человек своего времени, не топчет он культурные ценности, нет, не фанатик он; не проклинает искусство, подобно Мережковскому; как человек, он верует; как ученый, он знает историю происхождения всякой веры. Отсюда его многострунная душа выражается и в деятельности многообразной; к нему стекаются и профессора, и поэты, и религиозные деятели; его дом — наиболее интересный салон Петербурга; здесь происходили знаменитые ныне Ивановские среды, откуда впервые пошла проповедь нового искусства в широкую публику; ныне он состоит одним из главных вдохновителей религиозно- философского петербургского общества, влияет на московское религиозно-философское общество, руководит академией поэтов, является вдохновителем журнала «Аполлон», влияет на идейную физиономию ряда издательств. Одновременно он приглашен лектором на петербургские Высшие женские курсы. Такова многообразная его общественная деятельность.

Странная его судьба: ученик Моммсена, прикоснувшись к Ницше, стал поэтом; быть может, неожиданно для себя стал писать стихи.

Мы помним впечатление первой книги его стихов, «Кормчие звезды», изданной чуть ли не у Суворина⁷. Не кипение молодости, не разрыв с традицией превратили Иванова в поэта-символиста; наоборот, углубление в науку, присягновение древней традиции привлекли его к нам.

Быть может, стихи его носят печать академической тяжести и велелепия; быть может, мы, вдохновляемые его темами, преувеличиваем его как поэта; не знаю, — не стану спорить. Я только знаю, что он не Тредьяковский им созданного русла поэзии; он — Державин этого русла, а там, где возник Державин, там есть уже и Пушкин — в потенции; подождем — увидим.

Я только знаю, что, когда причисляют Иванова к декадентам, ему оказывают несправедливость: его поэзию благословил покойный Владимир Соловьев; его стихотворные опыты печатал когда-то «Вестник Европы»...⁸

Помню его первое появление в Москве в 1904 году, после десятилетнего уединения за границей, где проводил он жизнь как ученый затворник, собирая материал для исследования своего. Тишина уединения сменилась шумом; его водили из кружка в кружок: везде он увлекался, спорил, знакомясь с художниками и поэтами; странно было видеть облик немецкого профессора в обществе юных революционеров искусства. Он не давил своей громадной ученостью; он даже как будто конфузился своих знаний, ласково, дружески протягивала руки сутулая его фигура; ему хотелось видеть все в розовом свете в наших кружках.

— Как вам нравится Москва?

— Я восхищаюсь: здесь все так молодо...

— Но разве не видите вы, сколько вокруг завелось хулиганства?

— Ну, это увлечение молодости, — это — шалости богемы.

Так покрывал он своей рассеянностью и любвеобилием многое из того, что впоследствии расцвело махровым цветом хулиганства⁹: повторяю, я не виню тут Иванова; он просто не разбирается в людях; от злых сторон жизни конфузливо отворачивается этот кабинетный затворник; более того, как-то стыдится бичевать и вразумлять, как стыдился он своей импонирующей эрудиции при первом появлении в России; из тишины уединения повлекли Иванова на базарный шум: он растерялся; скромнейшего, застенчивого человека толпа повлекла на улицу; рассеянная, сутулая фигура в старомодном фраке и белом галстуке появилась на кафедре среди причесок в стиле «нуво», декадентских смокингов, косовороток и криков.

Иванова прозвали «мэтром» его поклонники; но его провозгласили мэтром и те, чья подозрительная деятельность нуждалась в благословении авторитета; а Иванов, растерявшись от шума, доверчиво протягивал руки первому встречному, доверчиво покрывал литературное хулиганство; было время, мы его винули; мы не видели его младенческой доверчивости; вместо того чтобы его упрекать, следовало бы к нему подойти: следовало бы его увести.

Он не может бороться с пристающим к нему хулиганством; он — слишком нежная, тонкая, чувствительная душа: дыхание

лирики Новалиса и старого романтизма¹⁰ струится из-под маски ученого профессора филологии.

И кто-то странный на дороге
К нам пристаёт и говорит
О жертвенном, о мертвом Боге...
И сердце плачет и горит¹¹.

Он — путник, ищущий дорогу в Вифлеем; всякого на пути как бы спрашивает он: «Как найти мне новорожденную душу будущего, которую я увидел во сне наяву?»

И в случайном встречном отыскивает он речь о Боге. Во всяком слове слышится ему, от чего горит его сердце.

А встречные на дороге бывают всякие. Они подчас дают одинокому путнику ложные указания о пути, и Иванов свертывает, плутает в глухих закоулках жизни, отыскивая новорожденную душу будущего.

Но недаром он о себе говорит, будто

...Солнцем Эммауса
Озолотились дни мои...¹²

Солнце Эммауса озолотило и его душу; озлащенная, она таит неведомый свет; Иванов вновь и вновь возвращается на дорогу: дальше, все дальше бредет одинокий путник к ему забрезжившему сиянию. И, как следы его, на пути, им пройденном, остаются книги, идейные течения, кружки, общества.

Те из людей, которые чувствуют свет любви, от него исходящий, вспоминают одинокого путника, когда его уже с ними нет, когда он где-то впереди и вдали, шествует по пути в Вифлеем, и кто-то странный к нему пристаёт на пути, говорит о жертвенном Боге.

И горит его сердце, и плачет оно.

1910

